

**«ПОД ФЕРУЛОЙ РИТОРИКИ»:
СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЖАНРА ПУТЕШЕСТВИЯ
В ОЧЕРКОВОЙ КНИГЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ “ПАЛЛАДА”» ***

Рассматриваются суждения И. А. Гончарова о «теории путешествий», выявляется семиотически-феноменологический характер художественной мысли писателя, что позволяет представить картину зеркального отражения авторской теории жанра в практике описания кругосветного путешествия.

Ключевые слова: Гончаров, «Фрегат “Паллада”», «наука о путешествиях», феноменологический аспект.

Широко известные романы И. А. Гончарова, составляющие трилогию и объединенные своими анафорически звучащими названиями – «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», не заслонили ни культурно-исторического значения, ни эстетической ценности его очерковой книги «Фрегат “Паллада”». Более того, в отличие от романов, в разные периоды общественной жизни по мере своего бытования получивших самые противоречивые оценки, очерковая книга отмечена поразительной согласованностью в признании самого разного рода ее достоинств как содержательно-познавательных, так и художественно-поэтических. А. П. Чехов говорил: «...если желаешь прочесть нескучное путешествие, прочти «Фрегат “Паллада”» Гончарова...» [1974. С. 29].

Во многом это объясняется притягательной силой жизненного материала, составившего ее содержание, точным выбором жанровой формы повествования, непревзойденным мастерством словесного живописания: «Нет, не в Париж хочу, не в Лондон, даже не в Италию... хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда... где человек, как пра-

отец наш, рвет несеянный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето, – туда, в светлые чертоги божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия не может перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться» [Гончаров, 1959. С. 11]¹.

Можно ли средствами слова более убедительно передать мотив и обосновать выбор целей путешествия, чем делает это Гончаров? Позвав для «исправления должности секретаря» уже известного писателя, адмирал Путятин, назначенный начальником кругосветной экспедиции, сделал русской словесности поистине бесценный подарок. Соединив дар острого наблюдателя со способностью приобщить читателя к тайнам человеческой природы и редкое мастерство словесного выражения, Гончаров создал произведение, явившее классический образец жанра путешествия.

Примечательной особенностью книги является то, что созданная в жанре путешествия, она сама до чрезвычайности богата материалом, имеющим непосредственное

* Работа выполнена в рамках интеграционного проекта СО РАН № 53 «Литература и история: сферы взаимодействия и типа повествования (совместно с ИИиА УрО РАН)».

¹ Далее в круглых скобках указаны том и страница этого издания.

отношение к проблеме жанра как таковому, общим его свойствам и законам развития, подтверждая феноменологически-семиотическую природу творческого сознания писателя. Едва ли не с первых страниц повествования слышатся сетования автора на отсутствие теоретического осмысления популярного жанра: «Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор или спускаться в глубину океанов с ученой пытливостью или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом, на бумагу, их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактуры, – словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику...» (2, 14).

В этом контексте нельзя не ощутить стремления писателя самому вступить в сферу общих суждений о специфике нарратива путешествия, попасть «под ферулу риторики», определить жанровые границы разных типов повествования о путешествии – от ориентации на «ученые авторитеты» до живописания «чудес, поэзии, огня, жизни и красок» (2, 15). Ни тот, ни другой способ повествования неприемлем для автора: не претендует он ни на скрупулезность научных описаний, ни на фейерверк из «чудес»: «Я не сражался с львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса» (2, 15). Переходя от общих размышлений о разных типах повествования о путешествиях к живописанию истории плавания фрегата с первых шагов своего появления на его палубе, писатель дает понять, что и далее будет следовать принципу последовательного изложения живых впечатлений от всего увиденного в долгом путешествии: «Но довольно делать *pas de geants*: будем путешествовать умеренно, шаг за шагом» (2, 16).

Общий характер путешествия как такового, по убеждению Гончарова, – неисчерпаемость его познавательно-воспитательного ресурса: «Это вглядыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа, или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного

воспитания считалось путешествие» (2, 38). Не преминет писатель отметить и момент духовно-эмоционального восполнения личности, наступающего во время путешествия: «Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать!» (2, 73).

Однако, полностью полагаясь на силу личного впечатления при предстоящей встрече с огромным миром, готовясь «взглянуть живыми глазами на живой космос» (2, 11), Гончаров акцентирует мысль об исключительной мере ответственности перед читателем: «Какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плователями?» (2, 14). «И хватит ли души вместить вдруг, неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь это дерзость почти титаническая! Где взять силы, чтобы воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира?» (2, 13).

Знаковое слово произнесено: «дерзость почти титаническая!» – это не случайный поэтический образ, а стержневой, структурирующий все очерковое повествование, «титанически» крепящий цельность всего нарративного здания. Когда Гончаров создавал свою книгу, в русской культуре уже сложилась богатая традиция описания путешествий – от паломнической литературы Древней Руси и «Хождения за три моря» Афанасия Никитина до почти современных ему «Писем русского путешественника» Карамзина и «Путешествия в Арзрум» Пушкина.

Небезынтересно, что на протяжении первой половины XIX в. в отдельный, своеобразный по проблематике и характеру ее освещения блок выделялась группа произведений, посвященных путешествию по Ближнему Востоку и Африке, целью которых было посещение Святых мест, что, однако, не умаляло их роли в светской культуре, не лишало ценностей познавательного и эстетического порядка. В читательских кругах пользовались спросом путевые очерки О. И. Сенковского, которые он под псевдонимом барон Брамбеус печатал в «Библиотеке для чтения», хорошо было известно читателю и принадлежащее ему «Краткое начертание путешествия в Нубию и Верхнюю Эфиопию...» Тогда же, т. е. незадолго

до кругосветного плавания фрегата «Паллада», по следам путешествий в Святые места были созданы путевые заметки А. Н. Муравьева, А. С. Норова, П. А. Вяземского и др. (см.: [Путевые заметки..., 1995]).

Однако автор книги «Фрегат “Паллада”» предпочел вписать свой дорожно-путевой текст в традицию мировой литературы в ее античном мифопоэтическом изводе. Архетипические аллюзии, восходящие к мотивам аргонавтики, «Одиссеи», всплывают в тексте его книги постоянно, поэтические образы золотого руна, Улисса, Итаки служат ее композиционным обрамлением... «Я, — представляется своим читателям автор в начале книги, — новый аргонавт, в соломенной шляпе, белой льняной куртке, может быть, с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства» (2, 12). После двухлетнего плавания по чужим морям и океанам, претерпев множество злоключений, но и обретя неоценимое богатство нового знания о мире, вступив на родной берег и представляя всю сложность пути от оконечности Сибири до Петербурга, он восклицает: «Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будет иметь право сказать: “Я дома!.. Какая огромная Итака и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп! Десять тысяч верст: чего-чего на них нет!..”» (3, 237). К концу книги образ Улисса, а вместе с ним и Пенелопы, знаменательно обретает черты множественности и собирательности. «Нас всех, Улиссов, разделили на три партии, чтобы не встретились на дороге затруднения с лошадьми» (3, 274), — сообщает автор подробности предстоящего десяти тысячеверстного пути, и с этого момента повествование начинает разворачиваться как сибирская Одиссея: «Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскал глазами Итаки» (3, 27). Такой способ кольцевой, иначе говоря, круговой композиции в духе излюбленной художественной мыслью Гончарова философии цикличности бытия, откуда и анафоричность в названиях его романов, начинающихся на «круглую» букву «О», отчетливо выявляет смыслообразующую роль античного путешествия в повествовательном пространстве книги, с особой силой акцентируя авторскую мысль о важности оснащения большого путешествия целевой

установкой, не исключаяющей «дерзости почти титанической!» и равнозначной понятию золотого руна, к обладанию которым направлены героические усилия аргонавтов, ибо «без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, *без идеи* (выделено мною. — Л. Я.) путешествие, конечно, только забава!» (2, 38).

Обоснованию *идеи* собственного плавания на фрегате «Паллада» Гончаров уделил много внимания, исходя из неискоренимого убеждения, что развивающаяся в этом направлении мысль имеет прямое отношение к «проблемам риторики», к самой «науке о путешествиях», выявлению общих законов развития этого рода литературы: «Да, — размышляет он, — путешествовать с наслаждением и пользой значит... хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: *тут непременно проведешь параллель, которая и есть весомый результат путешествия*» (выделено мною. — Л. Я.) (2, 38).

Именно эта неостановимая устремленность к «весомым результатам», к воплощению главной «идеи» путешествия лежит в основании книги Гончарова, определяет сквозной, стержневой принцип всего ее повествования, составляет его интригу, придает эмоциональную остроту и смысловую содержательность читательскому интересу. Планетное бытие разворачивается в прицельном фокусе «проведения параллелей» между жизнью разных стран и народов, в сравнении-сопоставлении своего и чужого, постоянном установлении сходства и различия, общего и неповторимого, улавливании точек сближения и отдаления, пересечения и соприкосновения: «Увижу новое, чужое, — признается писатель, — и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, — не боясь быть докучливым, повторяет он, — что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!» (2, 58).

Сравнительно-сопоставительный ракурс повествования проникает и в бытийственные глубины жизни, касается и бытовых, лежащих на ее поверхности, деталей. Вот, скажем, с трудом «сживаясь с противоположностями» человеческого бытия на земле, автор размышляет о разном понимании бед-

ности: «...в одном описании какого-то разорившегося богача сказано: “Теперь он беден: жилищем ему служил маленький павильон, огражденный только колючими кустами кактуса и алоэ, да осененный насажденными когда-то им самим миндальными, абрикосовыми и апельсиновыми деревьями и густою чащей виноградных лоз. Пищей ему служили виноград, миндаль, гранаты и апельсины с этих же деревьев или молоко единственной его коровы. Думал ли он, насаждая эти деревья для забавы, что плодами их он будет утолять мучительный голод? Служил ему один старый преданный негр...” Вот она, удивляется писатель – какова африканская бедность: всякий день свежее молоко, к десерту quatre mendiants прямо с дерева, в услужении негр... Чего бы стоила такая бедность в Петербурге?» (2, 151–152).

Прочно защищенный от воздействия миражно-обманных видений жизни глубинной *идеей* путешествия, поисками истинного смысла бытия, писатель и читателя своего мудро отвращает от ложных соблазнов: «Удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились удобства?» – вопрошает он, глядя на безграничность усилий англичан сделать свою жизнь предельно комфортной, полностью отгородив ее от живого природного начала.

Своего высшего художественного эффекта применение риторической фигуры сравнения достигает в сфере антропологических размышлений писателя, от начала до конца книги неотступно подтверждающих равно и глубину его феноменологических взглядов, и склонность к семиотически значимым выводам. «Ох, уж эти мне эмблемы да символы» (3, 13), – многозначительно вздохнет повествователь однажды, и поскольку для автора в роли путешественника буквально знаковым становится общечеловеческая способность к удивлению земным миром, то и меру этой способности учитывает он в понимании психологии человека другой национальности: «Мне казалось, – говорит он об англичанах, – что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает жажды знания, а просто – холодное сознание, что то и другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не видать, чтобы они наслаждались тем, что пришли смот-

реть; они осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи: взглянуть, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше» (2, 44). «Эмблематично-символично» в понимании автора не только то как одевается, питается, ведет себя за столом человек другой национальности, но и *как* он «любопытствует».

Но как бы ни был богат и многообразен сравнительно-сопоставительный план повествования очерковой книги Гончарова, волнует его прежде всего мысль о России, месте и роли ее как в историческом пространстве, так и на географической карте мира. Поэтому особо следует отметить, что дорожно-путевой нарратив Гончарова носит отчетливо выраженный и специально им оговоренный в предисловии двусторонний сюжетно-композиционный характер. За выразительностью названия книги временами как-то тускнеет, отступает на задний план значение такого факта, что во исполнение важной миссии установления дипломатических отношений с Японией была отправлена маленькая флотилия: фрегат шел в сопровождении транспортного судна «Князь Меншиков», корвета «Оливуца» и шхуны «Восток», что, кстати сказать, насторожило японцев: почему одну бумагу везут четыре корабля? «...Истории плаванья самого корабля, этого маленького русского мира, с четырьмястами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразной жизни плавателей, чертам морского быта» – всему этому писатель придает столь же важное значение, как и описанию чужих стран, экзотике быта и нравов других народов. В результате изо дня в день не просто зорко наблюдаемая, а душой и сердцем воспринятая автором картина жизни на корабле предстает пред читателем как прообраз покинутой Родины, как модель Российской империи, как своего рода национальный космос – с сохранением его вековых порядков, сословно-иерархических отношений, с соблюдением всех ритуалов государственной службы, религиозных отправлений, христианских праздников, с исполнением государственного гимна и т. д. «Не только в праздники, но и в будни, после ученья и всех работ, свистят песенников и музыкантов наверх. И вот морская даль, под этими синими и ясными небесами, оглашается звуками русской песни... или слышатся столь из-

вестные вам хватающие за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно забытых страданий. Такое развлечение имело гораздо более смысла для матросов, нежели торжество Нептуна» (2, 99).

Как маленький островок огромной империи фрегат живет по ее исконным законам: здесь все, от адмирала до рядового матроса, исполнены чувством коллективной ответственности. Общее преодоление тягот морского плавания, непредсказуемых превратностей судьбы моряка и осознание чести российского подданства сближает и родовитых дворян из числа офицеров, и бывших крепостных из разных губерний России, ставших матросами. Появление красавца-фрегата в сопровождении маленькой флотилии у чужих берегов всегда представало как нерядовое событие в жизни земных окраин и вызывало прилив гордости российских «плавателей». Житейски-общечеловеческая формула «людей посмотреть и себя показать» обретала в этом случае зримое воплощение.

При всей глубине понимания неотменимой силы высших законов Бытия, картина жизни на корабле прописана в строгом соответствии с конкретно-историческими реалиями: ни строгость морской субординации на военном фрегате, ни сохранность правил сословно-классовой иерархии не способны пока повлиять на приверженность «плавателей» пережиткам старой крепостнически-патриархальной России. Особенно явственны они в отношениях самого повествователя с вестовым Фаддеевым, во много складывающихся по образу и подобию отношений Обломова и Захара.

Фаддеев полнится к «барину» чувством снисходительной опеки и заботливости до такой степени, что готов, например, поступиться запретом на пресную воду для умывания, а «барин» прощает верному слуге вольность панибратства в обращении: «“Достал, – говорил он ревностно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту, – на вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце рожу вытереть!” (ей-богу, не лгу!). Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом-богом просил других не учить Фаддеева, как обращаться со мною». Типичность такого рода отношений офицера с подчиненным подтверждает поведение П. А. Тихменева:

«Витул, Витул! – томно кличет он, отходя ко сну, своего вестового. – Я так устал сегодня: раздень меня да уложи. Раздевание сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. “Завтра на вахту рано вставать, – говорит он, вздыхая, – подложи еще подушку, повыше, да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю!”»

Особенное чувство душевного комфорта нисходит на повествователя, когда на море устанавливается тишина, и тот же покой воцаряется на фрегате: «В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии, фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отменным здоровьем, свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу» (2, 101). Ни с чем не сравнимая прелесть этой идиллии, от которой веет духом родной Обломовки, предстает как картина осуществленного на земле Рая и, скорее всего, отражает потаенный мир личной гончаровской утопии, его буколических представлений о возможности таких человеческих отношений, когда все люди исполнены взаимопонимания, а отдельная личность *окружена* всеобщей любовью и заботой, защищена общим покоем и довольством. Но то был субъективный мир авторского «Я», торжества бессознательного, а в действительности же побеждали аналитический разум, трезвое сознание, суровая диалектика мыслителя.

Идея путешествия в особенности склоняла к видению жизни в ее кричаще противоречивых реалиях – гибели романтических иллюзий, торжестве научно-технического расчета, неумолимости законов глобализации. И, может быть, особую душевную боль приносило автору то, что символом неизбежного расставания с привычным и обжитым миром стал... фрегат «Паллада»: «Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда по бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя, а когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится,

подденет десть юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на минуту иногда успеет; но только явится молодость и свежесть сил – все ее хлопоты разлетятся в прах...» Далеко смотрел писатель, многое провидел в судьбах России, когда безжалостно заключал: «Ни на одной военной верфи не строят больших парусных судов; даже старые переделывают на паровые» (2, 25).

В частности, и та трогательная простота нравов, их непосредственность и неприкрытость какими-либо формальными требованиями, что в частном порядке, так сказать, отдельном случае, касаясь конкретных отношений с Фаддеевым, могло даже и умилять автора, в целом логично приводит его к неизбежности увидеть их в более широком спектре, например, через призму психологии англичан как народа, достигшего к тому времени значительных высот цивилизации и установления правопорядка. К тому же Россия тоже, как и Англия, искони была страной имперских традиций, отказаться от которых было невозможно исторически.

«Английский текст» занимает значительное место в нарративе очерковой книги Гончарова, но те страницы, которые посвящены воспроизведению первой встречи его с англичанами непосредственно на их территории, в их столице, относятся к замечательным, поистине непревзойденным по тонкости художественной инструментовки образцам русской прозы: «Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руки, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; смотреть их походку или какую-то иноходь и эту важность до комизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или по крайней мере холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу» (2, 37).

Соблазн цитировать такой текст не останавливает даже опасность впасть в избыточность: «В тавернах, в театрах – везде пристально смотрю, как и что делают, как

веселятся, едят, пьют; слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка»... Что же увидел Гончаров в итоге, к каким общим выводам пришел в результате своего пристального вглядывания в чужую жизнь? Они оказались далеко не однозначными, вплотную поставив писателя перед несокрушимой стеной диалектики человеческого существования, неодолимость которой человечество продолжает ощущать и сегодня и будет ощущать всегда. С одной стороны, нельзя было не восхититься, не изумиться, просто не позавидовать успехам цивилизации на английский манер, а с другой, не испытать определенного рода сомнений в ее совершенстве. Вот тот же Лондон: «там до двух миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали не заметно? – жизни, то есть ее бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет: или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле... Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. *Кажется, все рассчитано, взвешано и оценено, как будто и с голоса и с мимики берут тоже пошину, как с окон и колесных шин...*» (выделено мною. – Л. Я.).

Известно, как англичане уважают общественные приличия. Это уважение к общему спокойствию, безопасности, устранение всех неприятностей и неудобств – простирается даже до некоторой скуки. Едешь в вагоне, народу битком набито, а тишина, «как будто в гробе, тьмы людей», по выражению Пушкина» (2, 44).

Невозможно, наконец, удержаться от того, чтобы не остановить взгляд на отношении автора к природе Англии: «...какая там природа! ее нет, она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы».

Если неприкрытая цивилизованными нормами простота, непосредственность и естественность нравов российской жизни далеки от идеала общественных отношений, то можно ли считать, что он осуществлен в мире, достигшем предельной степени заформализованности и запрограммированности? И можно ли – по неумолимой логике диалектики человеческого существования – сделать выбор между не ограниченной ничем широтой человеческого духа, неизбежно приводящего в России к нестерпимой

жажде социальных перестроек «до основания», и «жизнью по программе», фатально угрожающей превращением человека в механизм и убивающей в нем «душу живу»? Поистине писатель затронул самые тонкие и чувствительные струны человеческой экзистенции, коснулся многих нетронутых глубин философии жизни, поставил читателя перед неизменно-вечными вопросами бытия в их обновленном круговороте времени. И как были актуальны они в середине XIX в., так не утратили своей судьбоносной значимости и сегодня.

Помимо русского и английского «текстуальных пластов» следующими по значимости являются японский, китайский, корейский, южно-африканский и некоторые другие.

«Тексты» могут пересекаться, вторгаться друг в друга, что не убавляет ни их особенности, ни цельности всего повествования. Вот пример включения английского «текста» в китайский: «Вообще обращения англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то, чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно» (3, 103). И если в английском «тексте» внимание неизменно акцентировано на тех чертах национального характера англичан, идеально воплотивших меркантильный дух наступившего времени, которые выявляют в них неудержимое стремление к обособлению, превосходству и властвованию над многонациональным миром, то в целом автора радует прежде всего возможность в психологии, поведении и образе жизни других народов обнаружить сближающие их друг с другом черты, что в словесной формуле «как у нас» найдет свое точное и полное выражение.

Вследствие этого в отличие от английского русский «текст» взаимодействует с китайским принципиально на другой коммуникативной основе: «Вот обширная в глубину лавка, вся наполненная мужиками и бабами тоже, – рассказывает писатель о своем пребывании в Шанхае. – Это харчевня. Ну, так и хочется сказать: “Здорово, хлеб да соль!” Народ группами сидит за отдельными столами, как у нас. Из маленьких синих чашек, без ручек, пьют чай, но не прикусывает широкоплечий ямщик по крошечке сахар, как у нас: сахару нет, и не употребляют его с чаем. Зато все курят из маленьких тру-

бок, с длинными, тоненькими чубуками: это опять противно нашему: у нас курят из коротеньких чубуков и предлинных трубок...» (3, 93).

Политекстуальность как характерная особенность гончаровского жанра глубинно сопряжена с общей, феноменологически окрашенной атмосферой очеркового повествования в книге «Фрегат “Паллада”». В подавляющем воображении богатстве и разнообразии форм земной жизни («...хватит ли души вместить...») прежде всего притягивает автора феномен близости и родственности человеческих душ, единства людской природы, подтверждающей высшую явленность бытия, непреложную логику человеческой экзистенции: «Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь?» (2, 33), – вопрошает он, – и в этом смысле равны судьбы и чопорного англичанина, и робкого, тихого ликейца. В чужих, неизведанных краях встреча с тем, что имеет место *всегда и везде*, в особенности привлекает повествователя. Уже за экватором, на мысе Доброй Надежды, обратил он внимание на «как в целом мире», «провинциальную замашку выдавать свои товары за столичные. Что ни спросишь, шляпу, сапоги – это из Лондона! – отвечают вам. Я вспомнил наши уездные города и надписи на бледно-синей доске: “Портной из Нижнего”» (2, 112). И здесь же теплой памятью о далекой России повеяло от вида плохих картин на стене случайной гостиницы – этой «неизбежной принадлежности станций и трактиров всего земного шара... Припомните, сколько раз вам пришлось улыбнуться, рассматривая на наших станциях, пока запрягают лошадей, простодушные изображения лиц и событий? И тут то же самое» (2, 113).

И каким бы своеобразным ни выглядел в середине XIX в. мир японской жизни, и как бы ни сопротивлялся он включению его в общую орбиту земного развития и в этом смысле ни препятствовал осуществлению дипломатической миссии российского корабля, но и в этом случае Гончаров нашел необходимую форму выражения: «Ум везде одинаков, – убежденно заключает он, наблюдая за изощренной дипломатией японских парламентариев: “У умных людей есть одни общие признаки, как и у всех дураков, несмотря на различие наций, одежд, языка, религий, даже взглядов на жизнь”» (3, 146–147). Подтверждением служит очередная из

сцен в бесконечной цепи переговорного процесса русских с японцами: «Начал старик. Мы так и впились в него глазами: старик очаровал нас с первого раза: такие старички есть везде, у всех наций... Всякому, кто ни увидит этого старичка, захотелось бы выбрать его в дедушки» (3, 127).

Японский «текст» лишь в особо острой и выразительно аргументированной форме подтверждает феноменологический характер художественной антропологии автора и тем самым проливает особенно яркий свет на понимание того, какое важное место занимает антропологическая мотивация в обосновании *идеи* путешествия как определяющего фактора жанра «травелог». Примечательно, что к концу повествования о кругосветном плавании описанию долгожданной встречи с родными берегами, торжественного момента вступления на окончательность сибирской земли – портовый поселок Аян, откуда и начался путь домой, предшествует большое лирическое отступление, содержание которого, касаясь особенностей психологии путешественника как такового, восходит к важнейшей из сторон именно риторики травелога, способствует окончательному восполнению «науки о путешествиях»: «Вглядыванье в общий вид нового берега или всякой новой местности, освоение глаз с нею, изучение подробностей – это привилегия путешественника, награда его трудов и также наслаждение, перед которым бледнеет наслаждение, испытываемое перед картиной самого великого мастера...

Как берег ни красив, как ни любопытен, но тогда только глаза путешественника загораются огнем живой радости, когда они завидят жизнь на берегу...

Кровля прежде всего говорит сердцу путешественника, и притом красная: это целая поэма, содержание которой – отдых, семья, очаг – все домашние блага. Кто не бывал Улиссом на своем веку...» (3, 271).

Человек в мире, его присутствие на земле, наличие «жизни на берегу», – только это и служит предметом мысли о бытии, из этого, по существу, и должна, по убеждению автора, исходить идея путешествия, уводя его от опасности превратиться в пустую забаву. Непередаваемое своеобразие книги Гончарова состоит в том, что «наука о путешествии», риторический дискурс, теория жанра в ней неразрывны, слиты, соединены с художественной практикой воплощения *идеи* кругосветного плавания. Семиотически-феноменологический текст не выглядит случайным, «лишним» в общей структуре очеркового повествования о кругосветном плавании; органичности его способствует синкретическая природа травелога как жанра, в художественном пространстве которого продуктивно взаимодействуют описание, сцена, исторический экскурс, лирическое отступление, вводный эпизод, портрет, пейзаж и т. д., допустима прихотливая игра различными поэтическими модусами, дискурсами и текстами.

Список литературы

Гончаров И. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1959. Т. 2.

Путевые заметки русских писателей. М.: Вост. лит., 1995.

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974. Письма. Т. 1.

Материал поступил в редколлегию 12.09.2012

L. P. Yakimova

«UNDER THE FERULE OF RHETORIC»: SEMIOTIC ASPECT OF THE TRAVELOGUE GENRE IN I. A. GONCHAROV'S «FRIGATE "PALLAS"»

I. A. Goncharov's opinions about «the theory of travel» are considered. The semiotically phenomenological character of the writer's artistic thought is revealed, allowing a specular reflection of the author's theory of the travelogue genre in describing a tour round-the-world to be imagined.

Keywords: I. A. Goncharov, «Frigate "Pallas"», theory of travel, phenomenological aspect.